ности — язык и поэзия опровергают их. Здесь уже не просто азбука верлибра, а куда более тонкая его природа — катарсис верлибра. Как бы мгновенное пробуждение, узнавание, прозрение.

Раздумывая о судьбе верлибра сегодня, нельзя не оглянуться назад, нельзя не вспомнить, что русский свободный стих знал мгновения настоящего творчества. Верлибры Хлебникова 20-х годов — погружение в гущу русского корнесловия и одновременный спуск в подземные миры времени:

Когда полет орла напишет над утесом
Большие медленные брови,—

тогда на лице земли, исписанной цивилизациями, проступает другая азбука, непосильная для сегодняшнего человека, но знакомая и влекущая. Таков всего лишь один из примеров глубины этой верлибристики, которая, по существу, есть целый суверенный континент свободного творчества.

Одних только верлибров Хлебникова хватило бы для оправдания чести свободного стиха. Но там еще и Блок, и Н. Рерих, и Мандельштам, и поразительный Волошин, чья прямая речь к Богу (свободные стихи 1915 года) — событие не менее, быть может, значительное, чем несравненная ода Державина.

Каждый из этих поэтов вошел в русло свободного стихосложения абсолютно своим, единственным путем. Их опыт еще раз подсказывает, что верлибр — не приемы и не профессия, а вольные непредсказуемые пути духа и слова.

Марина БОРЩЕВСКАЯ.

★

БОСФОР, ЕВФРАТ И МОСКВА-РЕКА

От берегов Босфора до берегов Евфрата. Переводы, предисловие и комментарии С. С. Аверинцева. М. «Наука». 1987. 360 стр.
Сергей Аверинцев. Попытки объясниться. Беседы о культуре. М. «Правда». 1988. 47 стр.

Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Что-то похожее на эту с детства памятную нам ситуацию из «Бородина» происходит и ныне: считаем раны, нанесенные отечественной культуре, считаем товарищей, многих из них недосчитываясь. И, возможно, пора намечать жутковатую типологию утрат и потерь, трагической бухгалтерией подзаняться. Разделов в ее гроссбухах наберется достаточно, и под каким-нибудь двузначным номером будет: утрачена была и традиция филологической мысли, филологического осмысления жизни, ибо и жизнь в каких-то ее аспектах должна становиться предметом филологического анализа; она говорит с нами, да еще и как говорит-то!

«Во тьму филологии влазьте»,— незадолго до кончины взывал Маяковский. И жизнь продолжала разговаривать с его соотечественниками на языке неживой и живой природы, на языке архитектурных форм, научных открытий, меняющихся транспортных средств, вообще на языке структур, которыми люди себя окружают. Но влазить во тьму филологии никто не спешил. Напротив, один за другим следовали погромы: громили фольклористов, медиевистов, лексикографов; формализм, в который все они якобы впали, был приравнен к самым зловредным идеологическим ересям.

Но филология непостижимо жила. Жила сконфуженно как-то, словно стесняясь того, что она живет, неуместная, как прабабушкин резной секретер в современном офисе: и не нужен, и выбрасывать все-таки жалко. И жила она, уйдя в разрозненные труды, там и сям иногда появлявшиеся, притаившись в медиевистике и в истории античных литератур: не так заметно, что она филология, к «формализму» предрасположенная.

Сергей Аверинцев долгие годы подвизался в роли, так сказать, академического тихони. Подхватив этот миф о себе, он и в новой, в публицистической, книге своей уверяет нас в том, что он-де «неисправимо кабинетный человек». Что ж, выходит, он затворник наподобие тех, о которых он повествует во многих своих исследованиях, и притом повествует, будто свидетельствуя о своих с ними встречах накоротке? Не думаю. К тому же и у затворников, насколько я знаю, порой иссякало терпение: улавливая веяния времени, они тем или иным образом на люди выходили, со всей мощью своего интеллекта ввязывались в мирские, в гражданские споры.

И в давнем трактате о Плутархе и в

недавно вышедшей антологии Аверинцев дает образцы филологического анализа позднеантичной и раннехристианской мысли, без малейших насилий над нею выявляя ее созвучность происходящему ныне в нашем социальном быту и в нашем сознании. В свежеизданной книжечке библиотеки «Огонек» он выходит на авансцену как пропагандист филологического осмысления нами себя самих, филологических знаний. Во всех вариантах их. На всех уровнях. От академического до как бы даже и низшего, периферийного, до уровня повседневного быта, проникновение в который он обнаруживает виртуозное, ибо зоркость и наблюдательность так называемых кабинетных людей сплошь и рядом превосходят наблюдательность профессиональных газетчиков, журналистов: для них-то быт однозначен, а для кабинетного человека быт — неожиданность, новость. Кажущиеся заурядными явления быта интерпретируются им на фоне многовековых традиций — как их продолжение или ломка. «Анонимность общественного поведения», ситуация, когда «люди пишут на себя характеристики»,— все это попадает в поле его зрения, вызывая неподдельное изумление: шутка ли, сочинять похвальное слово... себе самому! И в целом книжка публицистических статей Аверинцева, его бесед, интервью слагается в оригинальный путеводитель по гуманитарным проблемам современности, в пособие по ее, я бы сказал, созерцанию, имея в виду, что созерцать вовсе не значит безучастно глазеть или даже просто с любопытством рассматривать нечто. Созерцание — осмысление, причем осмысление сущего в обоснованно избранном человеком аспекте. Для Аверинцева этот аспект постоянен: он филолог, то ли один из немногих оставшихся, то ли, хочется думать, один из грядущих.

Миф о сугубой кабинетности Аверинцева издавна сопутствует ему еще и по той причине, что тяготеет над нами предрассудок о приоритете материала над методом. «Попытки объясниться» — слово, в котором современность присутствует зримо, наглядно. Но вообще-то материал, с которым имел дело Аверинцев, представляется от современности заведомо отрешенным: Плутарх, конечно, фигура почтенная, но уж очень древен. Чуткая к новому студенческая аудитория догадывалась, что Плутарх Плутархом, а суть-то в подходе к Плутарху и к античной трактовке биографии человека. Однако даже достаточно прозорливые специалисты на Западе, доискиваясь, кого бы из наших ученых они могли бы перевести, в звучание имени Аверинцева вслушивались отчужденно. Записывали: Averinzeff. И, по-моему, тотчас же забывали записанное, ибо сенсационными были Bachtin, а впоследствии — Lotman; у тех и материал был куда современнее: гарантирующий любому исследователю популярность Достоевский, Пушкин, Блок, а украдкой даже и пребывавшая в полукрамольных Анна Ахматова; а новации метода с завлекательной откровенностью били в глаза — интригующая «полифония» и чреватая массой соблазнов «карнавальность» у одного, у другого же и вовсе «структура текста» и соблазны предстоящей математизации безнадежно, казалось бы, расплывчатых гуманитарных наук. Ничего хотя бы на сотую долю столь же эффектного из работ Аверинцева выудить было нельзя. А тем временем в них накапливалась энергия филологических исканий, филологических подходов к слову о жизни и к слову жизни, энергия, которая нам еще пригодится: хочешь или не хочешь, а во тьму филологии внедряться придется.

Актуальность Аверинцева, а заодно уж и заново введенного им в наш культурный обиход Плутарха нынче — правда, задним числом — стала вдруг забавно наглядною. Плутарх, оказывается, «убежденно отстаивает идеал гражданской общности и полисной гласности». Стало быть, с Плутарха все и пошло, ибо он говорил: «Подобно тому как свет делает нас друг для друга не только заметными, но и полезными, так, думается мне, и гласность...» Тут уж прямо будто из очередной потрясающей умы и сердца статьи «Огонька» или газеты «Московские новости»! И это за две тысячи лет до нас было сказано, а аналитически выделено Аверинцевым лет пятнадцать назад, когда слово «гласность» звучало безнадежной архаикой.

В «Плутархе» Аверинцева полно актуальности. Она непринужденна, естественна, она как-то сама собой возникает. Здесь и упоминание о труде Харона Карфагенского с завлекательным названием «Тиранны, сколько их ни было в Европе и в Азии»: видно, уже к началу нашей эры тиранов, «тираннов — с удвоенным «н» получается еще полновеснее! — на долготерпеливое человечество надвинулось столько, что хватило на целый биографический справочник, выполненный спокойно, эпически; а знал бы Харон Карфагенский, сколько появится их впоследствии, он, я чаю, эпический тон утратил бы. Здесь и рассуждения о своеобразных методологических принципах античных биографов, которые «демонументализировали» историю и, добираясь до семей-

ных тайн живописуемых ими монархов, обличали «взяточничество и казнокрадство» весьма высокопоставленных личностей, таких, к примеру, как Фемистокл; и современные нам высокопоставленные мздоимцы, урви они час-другой для чтения трактата Аверинцева, могли бы всерьез возгордиться: оказывается, род свой они ведут от самого Фемистокла. Словом, довольно давний академический труд о Плутархе сегодня диковинным образом вклинивается в наши события; и ясно, что актуальность нынешних публицистических рассуждений Аверинцева была заложена в этом солидном и, казалось бы, узкоспециальном трактате. И все же не хотелось бы читать этот труд как некий «Прожектор перестройки» в древнегреческом его наполнении, как «Афинские новости». Актуальность лежала глубже.

Есть макрофилология и есть микрофилология. Макрофилология охватывает процессы эволюции слова; и Аверинцев вычерчивал линии, идущие от Плутарха к Монтеню, Руссо, через них к Л. Н. Толстому. В частности, речь шла о тенденции «обновления литературы за счет внедрения сгущенно интимного, «домашнего» материала»; предметом актуализации, таким образом, становилось воз-зре-ни-е на историю. Лихоимствовал или нет какой-либо властелин, это выяснялось попутно; суть была в целеустремленности мысли исследователя, с педантизмом компасной стрелки направленной на выявление в прошлом закономерностей, открывавшихся убежденному и последовательному филологу. Макрофилология вела линию от Афин до Ясной Поляны. Микрофилологии, оперирующей с отдельно взятым мотивом, с понятием, словом, в «Плутархе» тоже было достаточно; но особенно восторжествовала она в новой книге Аверинцева, в составленной им антологии ближневосточной литературы I тысячелетия нашего летосчисления.

К антологии «От берегов Босфора до берегов Евфрата» следовало бы приложить две-три разномасштабных карты — рубеж двух материков, Европы и Азии, заполненный приоткрытой для нас сирийскоязычной культурой, был бы явлен нагляднее, огромность ее была бы видна воочию. В пределах этой культуры сошлись сирийцы, «народ толмачей», и более оседлые копты, принявшие христианство египтяне. «Сирия и Египет — сердцевина нашего ареала»,— пишет Аверинцев, ведя подразумеваемой указкой по несуществующей карте. И далее указка упирается в границы Армении, Ирана. Это на востоке. А к западу указка доходит до Босфора, в отдельных случаях через него перешагивая. Ареал получается впечатляющим: он огромен в пространстве, и столетиями исчисляется время его исторической жизни. И одухотворен он вербальной культурой, которую нам представляют.

Кажется, только Аверинцев — хорош тихоня! — оказался способен как бы единым жестом охватывать и одним мановением очерчивать специфику целых художественных культур. И предстала перед нами сирийская культура как целое, описанное исследователем в предисловии, по деталям рассмотренное им в примечаниях и явленное в сделанных им переводах: что-то вроде соединения греческой литературной традиции с традицией ближневосточной. Их встреча. Обоюдное их узнавание.

Что представлено в антологии? Разделы ее называются: «На перекрестке путей: ранние апокрифы», «Золотой век сирийской литературы», «В пустыне Египетской», «Константинопольский эпилог», «Восточный эпилог». Все логично. И хронологично. И топологично — представлен весь названный во вступительном слове ареал. По жанрам: ветхозаветная книга (Енох), хороводная песня, гимны, отчее поучение, фрагментарные афоризмы-сентенции, театрализованное действо. Мысль подвижников-пророков, дидактиков-аскетов и равноправно вошедшего в это избранное общество мирянина, горожанина-отца, наставляющего на путь истинный сына, от событий начала I века возвращается к временам сотворения мира с тем, чтобы в следующем произведении снова устремиться к событиям от рождества до распятия. Фрагментарность порою заложена в самом жанре, порою же вынужденна, и изволь-ка читать книгу притч Иоанна Мосха начиная с 7-й главы, перескакивая сразу к 20-й. А дальше идут 24-я, 45-я. К концу — 204-я, 217-я. А где 205-я, 206-я и все остальные? Но замысел антологии Аверинцева заведомо предварителен: она дает нам первое представление о мире, в котором две культуры сошлись как бы затем, чтобы еще через ряд опосредований добраться и до нашего социального быта, внедриться в соборную нашу мысль, проделав путь от Босфора и Евфрата к Москве-реке.

Во всех явленных нам сентенциях, притчах, молениях, сказаниях или гимнах Аверинцев выделяет мотивы: во-первых, пещера; во-вторых, жемчужина, хранимая в этом укроме. Путеводность микрофилологического наблюдения исследователя несомненна. и тут филология частностей сулит

перерасти в филологию сюжетного развития реалии, преобразующейся в метафору, которая проходит через века, мигрируя из жизни в литературу и вновь возвращаясь в жизнь. Пещера — просто пещера. Но пещера и преддверье могилы, склепа. И символ материнского лона. В пещере обретается истина — жемчуг. Мотив пришел к сирийцам из давних времен, а развитие его можно проследить вплоть до литературы нового времени: мудрец Финн у Пушкина в поэме «Руслан и Людмила», а у Гоголя в «Страшной мести»: «Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги». Жемчужина здесь — лампада, и книга, и сам схимник. Но вскоре нагрянет в нашу литературу демон Печорин, и пещера обернется гротом возле курортного городка: заложенный в мотиве сюжет допускает вторжение в пещеру и инфернальных начал. Века не пройдет, и явится келейка Мастера из романа Булгакова. И уж полностью модифицированный вариант пещеры — мир коммунальных квартир с их пересудами, сплетнями и неутоленной жаждой затворничества: коммунальная квартира — смешение фаланстеры и монастыря, искаженные, наизнанку вывернутые традиции коего в ее быту несомненны. А одновременно, как бы в пику чаду и гаму коммунальных квартир, возжелали мы воздвигнуть доподлинные пещеры, да такие, чтобы все в них напоминало о жемчуге; и возникло сверкающее огнями метро. И на станции «Новослободская», помнится, красовалась мозаика: младая мамаша к вождю народов дитя простирала; смекай, где тут жемчуг: то ли чадо, то ли этот, к которому его простирают. Да, хранили традиции и даже, так сказать, творчески их развивали; взглянули б на дело рук наших сирийцы да копты, то-то радости было бы им!

Сирийцы и копты, явленные Аверинцевым в его постоянной стилистике тихони, просящего прощения за невежество и предполагающего в собеседнике бесспорное превосходство знаний, подвизались не токмо на пространственном стыке, скрещении двух культур. Был и стык временной: скрещение язычества, иудаизма и христианства. Человек — и с этим надо их принимать! — мыслился ими как сугубо временный житель материального мира, пришедший сюда из миров трансцендентных. Они видели в человеке хранителя памяти о мире духовном, за целостность этого мира персонально ответственного: даже единое неразумное, а тем более греховное слово колеблет, дестабилизирует всю вселенную. Мы уже неотторжимы от атеизма, и полностью встать на точку зрения каких-то сирийцев нам не дано. Попытаться, однако же, стоит. И тогда перед нами откроется глубоко поучительная картина освоения материального мира человеком, пришедшим сюда извне и узревшим в материи некую изумляющую его субстанцию. Он изумлен, но одновременно и насторожен: в горних мирах, очевидно, нет языка в том виде, каким знаем его мы; там нет вообще ничего телесного.

Только встав в меру наших возможностей на точку зрения героев Аверинцева, можно как-то понять их трактовку материального мира. Аскетизм их — от осознанного стремления как можно полнее хранить память о бестелесных мирах, но отсюда же и их «карнавальность» (явление, гениально высвеченное М. М. Бахтиным, не могло найти своего продолжения в дальнейшем на основе просветительства, а в конечном счете и атеизма). Тело претерпевает метаморфозы, и родители не узнают сына, поселившегося в их доме в обличии странника. Оно испытывает всевозможные муки, в то же время мораль героев антологии не отвергает и некоего профилактического воздействия на него. «Сын мой,— поучает благообразный отец,— пусть лучше мудрый побьет тебя многими ударами жезла, чем неразумный помажет тебя елеем благовонным».

От грубоватых, выдержанных как бы даже в стиле какого-то позднеантичного натурализма частностей — к общему. Пребывание на земле герои Аверинцева трактовали как обязанность действовать: «Там, где человек греко-римской культуры рассуждает и разглагольствует, копт делает». Антология поднимает гигантскую проблему соотнесенности веры с деянием, аксиологии веры. И тут надо снова отдать коптам дань восхищения: проблема веры и дела решалась ими бесхитростно, просто. Копт и сам по натуре своей строитель, скажем, учредитель монастырей; и в истории он видит прежде всего деятелей. В обиходе его — образы апостолов: Павел, Фома. Образы инициаторов, претерпевших гонения, но вдохновенно сеявших семена своей веры: делом становилось и слово. Человек в антологии — неустанный деятель. Не оттого ли он как-то удивительно крупен? Нам, привыкшим к детализации, к сопутствующим современному герою подробностям, он странен: не за что зацепиться памятью, потому что действуют здесь непривычно размашисто и без рефлексии. Уверо-

вал и прямехонько на небо вознесся да Господа лицезрел («Книга Еноха Праведного»). Призадумался о диалектике бытия, не реально, так мыслию узрел трансцендентный мир и заговорил «о состоянии душ, разлученных с телом».

И кстати, еще раз о жизни как поприще, на котором душа облекается в тело и научается земной, человеческой речи. Продолжая своих усердных предшественников в науке, Аверинцев обращается к первоначальной, допереводной речи Нового завета. Оказывается, что была это речь, «более похожая на энергичные стихи, чем на прозу, играющая каламбурами, ассонансами, аллитерациями и рифмоидами, сама собой ложащаяся на память, как народное присловье». Новозаветный стиль — это стиль живых слов, слов, как бы удивляющихся фонической близости, с которой выражаются лежащие в разных измерениях понятия, и прямо-таки любующихся своей многоплановостью. Я рискнул бы сказать, что так говорят поутру, на границе бодрствования и сна, когда с особенной остротою ощущаешь удивительность материального мира, красоту и слова и тела, а полчаса пройдет, и речь потускнеет.

События, разыгравшиеся в первые годы нашей эры в отдаленной римской провинции, в скверике и в ближайших окрестностях небольшого колониального города, таинственны; об эпохах более ранних мы знаем больше, видим их мы отчетливее. Но одно достоверно: происшедшее там ощущалось современниками как утро — и особая ясность зрения, и неожиданность тела, и свободный ток звонкозвучных, внятных, братски близких друг другу слов.

Может быть, утро и впрямь начиналось?

А о продолжении утра сего повествует нам книга филолога-публициста Аверинцева.

В. ТУРБИН.

★

Политика и наука

ИЗ ПРОШЛОГО О ВЕЧНОМ

И. Крывелев. Христос: миф или действительность? М. Редакция «Общественные науки и современность» Академии наук СССР. 1987. 143 стр.

О том, почему за этой не содержащей чего-то очень уж нового книжкой выстраиваются в очередь, гадать не приходится. Слишком долго хранили наши историки и философы «блаженную немоту» о Сыне Человеческом, чье рождество положило начало эре, в которую мы живем, и чье имя (по точному замечанию И. Крывелева) «в течение последних двадцати столетий постоянно и громко звучало в истории и в жизни миллионов людей». Мы или переиздавали иноземные труды («Библейские сказания» З. Косидовского — первое, что приходит на память), или пускали в оборот иноземные же полубалаганные сочинения вроде «Забавного евангелия». Не хочу сказать, что совсем не было отечественных публикаций: в минувшее десятилетие «Наука» и Политиздат обнародовали добросовестные штудии И. Свенцицкой, И. Амусина, М. Кубланова; «Советская энциклопедия» подготовила Философскую энциклопедию, «Мифы народов мира». Но все это или косвенно касалось «роковой» полузапретной темы, или пряталось за частоколом наукообразия, или служило «всеобщим эквивалентом» книгообмена, а потому было недосягаемо.

И вот появляется книжка (журнальный формат, трагически черный колор обложки), которая лишена зауми, продается в обычных магазинах, предназначена для «обычных» людей и, главное, прямо, жестко, откровенно привязана к волнующей всех теме. Сказать, что стиль И. Крывелева изящен,— значит покривить душой: суконных оборотов тут много («он... выступал в роли мессии-страдальца», «не будучи в состоянии дотянуться до вожделенного винограда достоверности...»—и т. д. и т. п.). Но позиция автора сформулирована тем не менее точно, забрало открыто, а это широкий читатель, уставший от уклончивости и двоемыслия, умеет ценить. Вся логика научного «сюжета» (от изложения «рецепции» образа Христа в конце XIX — начале XX века до анализа данных о его историчности) направлена здесь к безутешному выводу: имя, «постоянно и громко» звучавшее в новейшей истории человечества, не более чем миф, сказка, выдумка. Не было на земле такого человека. Так отвечала родившаяся на переломе столетий и расцветшая в 30-е годы «мифологическая» (в противовес «исторической», признающей реальность Христа) школа.